

Федор Достоевский

Зимние заметки о летних впечатлениях



Федор Достоевский

**Зимние заметки о
летних впечатлениях**

«Public Domain»

1863

Достоевский Ф. М.

Зимние заметки о летних впечатлениях / Ф. М. Достоевский —
«Public Domain», 1863

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – великий русский писатель, в произведениях которого органично сочетается реалистическое изображение социальных контрастов и страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

© Достоевский Ф. М., 1863

© Public Domain, 1863

Содержание

Глава I	5
Глава II	8
Глава III	11
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Федор Михайлович Достоевский

Зимние заметки о летних впечатлениях

Глава I

Вместо предисловия

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? Что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, – думал я, – зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составитя что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“ представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу...» Одним словом, на меня напала какая-то неутомимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? Что изображу? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что

Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные¹ улицы, те же запахи, те же... (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидеть то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный... «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, – подумал я, – что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидел собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высоту. «Величественного мало», – решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарина в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie»,² одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает – может быть и так. Помню, мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, – ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это все равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. Черт возьми, – думал я, – мы тоже изобрели самовар... у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас... эх – одним словом, я рассердился

¹ т. е. прямые, вытянутые по шнуру

² или жизнь (франц.)

и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому...

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

– А! – восклицаю я, – так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Баль-Мабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видеть собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит *высока*. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

Глава II В вагоне

«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколения сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделяющие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция – это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамилишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения... И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское. Я по некоторым данным это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравятся. О, ради бога, не считайте, что любить родину – значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не намерен думать, и даже напротив... Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда.

А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать.

По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготавлиюсь на завтра к Эйдкунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию, —

но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, да какие же мы русские? – мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в том же вагоне. – Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про

нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились – с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостью, другие, разумеется, со злобою за то, что мы *не доросли* до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться. Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало...» И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно празднично в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще доvezут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать...

Бог знает что иногда на безделье вздумается!

А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали; свист и постукивание машины нагоняли

какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал-думал и, уж не знаю как, додумался до того, что «рассудка француз не имеет», чем и начал эту главу. А знаете ли что: меня что-то подмывает, покамест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления, так, во имя гуманности: ведь было же мне скучно в вагоне, ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее *лишней*. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче. Итак:

Глава III

И совершенно лишняя

Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные представления, даже мечтания «о том, о сем, а больше ни о чем». Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем вышеприведенный афоризм о французском рассудке, так, ни с того ни с сего раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего происхождения (которого у нас совсем и не было) и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что «рассудка француз не имеет», да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастье. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не зипун же было ему надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы *быть русскими* и слиться с народом, не надели таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере французский кафтан был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину». Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить *русский костюм* и повадился было в нем на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: «Чего к нам этот ряженный таскается?» Да так ведь и не слился с народом помещик-то.

– Нет, уж я, – сказал мне другой господин, – нет, уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь все главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего уважения добиться.

«Фу ты черт! – подумал я, – точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет – да и только».

– Да, – сказал мне третий, впрочем премилейший господин, – я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет?

«А хошь бы и так, – захотелось мне вдруг сказать, да и не сказал я, потому что струсил. (Что это, отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать?) Хошь бы и так, – думалось мне про себя, – хошь и высекли бы, что ж? Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми, а особняком, так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети».

– Да помилуйте, какие тут жены и дети! – закричал бы мне мой противник, – выдрал бы мир ни с того ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась, а у вас уж это и общее дело.

– Ну да, оно, конечно, смешно, да и дело-то само смешное, грязное такое, рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все: пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите готов отвечать за мирской приговор: ни одной-таки розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору: «С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому

и дело это у него благородное. Не привычен. Вот, у нашего брата так на то и сиденье, чтоб его стегать», – порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина...

– Ретроградство! – закричит кто-нибудь, прочтя это. – За розги стоять! (Ей богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою.)

– Да помилуйте, про что вы говорите, – сюжет другой. – Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?

– Да что же это, – прибавит третий, – обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом. Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать?

– Вот это так действительно задача, – отвечаю я, – но позвольте: ведь это зимние воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. Притом же, подъезжая к Эйдкунену, я помню, особенно раздумался я про все наше отечественное, которое покидал для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа – и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор отцивилизовалось? Теперь я сам вижу, что все это тут как бы лишнее. Да я же вас и предуведомил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да! На французском кафтане. С него и началось!

Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда «Бригадира». «Бригадир» был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», – говорил сам Потемкин. Все как бы спросонья зашевелились. Что ж, неужели ж и тогда, – продолжал я свои произвольные созерцания, – уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация и что все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше «Бригадира» еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры во всякие помочи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что

Ляжет на горы, горы трещат

и что

Башни рукою за облак бросает.

Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие тогда (до «Бригадира» и в его время) издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого

радостного высокомерия с нашей стороны! Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Козьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда». Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, издавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковым, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек! Ну так вот у него все состоит из следующих анекдотов:

«Остроумный ответ кавалера де Монбазона. Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: „Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?“ На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не смятенным, но, напротив, постоянным голосом отвечивал: „Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно“. Сей ответ оному королю большое удовольствие причинивши, и кавалер тот не без награды за него остался».

Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть – так он приманил меня – и с тех пор не забыл:

«Остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей последний сказал ему: „Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет“. На что сей кавалер немедленно отвечивал: „Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели“».

То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает всё за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в цельность и необходимость подобных европейских известий. «Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло»... Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие «собрание острых слов» при дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки – вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему: так же отложив де Рогана (о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рту пахло) в сторону и сняв очки, расправлялись с своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее: меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами. А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать, – на то барин. Хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и жирно проживали свой век «в добросовестном ребяческом разврате». Мне

даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении де Роганов и Монбазонов.

Даже, может, и пребольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантазмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелие, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах – все это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром и в то же время пренаивно и трогательно быть уверену, что кавалер де Роган и есть самый «судительный суперфлю». Но ведь это ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у себя на конюшне, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы валялись на куртагах,

Отважно жертвуя затылком.

Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга – самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара.

Ну теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, приличие наблюдает, французским буржуа делается, а еще немного пройдет, и, как североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. Вот приеду туда – сам своими глазами увижу, – думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до того поддельывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

«... У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наша сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и *слушать* об этом не хочешь, каково ж было *терпеть* капитанше?»

Таким-то образом и сбрендилла благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и... нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранже-

рейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право, так. Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось! Кого люблю, того, дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били: не бьет, значит, не любит. Но это все первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть не из принципа, да и то потому, что все еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан Копейкин, «в некотором смысле кровь проливал». Жена его уж давно не «изрядная-изрядная молодка», как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним просиживала, утешала его, горячими слезами по нем обливалась, своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головешкой величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны, пусть! Пусть! Но, с другой стороны: да здравствует русская женщина, и нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более что и Гвоздилов-то теперь, в трезвом виде, иногда и не бьет жену, то есть пореже, приличие наблюдает, даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтись не может; он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.